

# Единая теория всего. Том 3. Антропный принцип

**Автор:**

[Константин Образцов](#)

Единая теория всего. Том 3. Антропный принцип

Константин Образцов

Образцовая фантастика К. Образцова

Автор бестселлера "Красные Цепи" предпринимает исследование тайн Мироздания. Великолепный многоплановый роман о человеческом выборе, влияющем на судьбы Земли: то, что начинается как детектив, превращается в научную фантастику, которая достигает степени религиозного мистицизма.

Трагическая смерть одного из авторитетных представителей преступного мира поначалу кажется самоубийством, а жуткие обстоятельства его гибели объясняются приступом внезапного сумасшествия. Но чем дальше продвигается расследование, тем больше всплывает странностей, парадоксальных загадок и невероятных событий, а повествование постепенно охватывает пространство и время от Большого взрыва до современности...

Константин Образцов

Единая теория всего. Том 3

Часть III

Антропный принцип

## Глава 8

### Исходный код

Доводилось ли вам, дорогие друзья, возвращаться когда-либо в прошлое – то прошлое, что осталось только в детских воспоминаниях? Это захватывающая, но и опасная экспедиция, потому что многому дорогому и личному, трогательному и восхитительному, как весенний день в детстве – свивающиеся в бурный поток сверкающие ручейки меж ломких кромок талого льда, первые согревающие лучи повеселевшего солнца, отощавшие шальные коты, счастливый воздух, золотистый, как искрящийся лимонад, и тугой от весеннего ветра, рядом еще совсем молодая мама, и лет ей куда меньше, чем сейчас тебе, и всех забот разве что провести через талую лужу игрушечный пластмассовый трактор, не вымокнув при этом до самой вязаной шапки с помпоном – всему этому лучше оставаться в молчаливых запасниках памяти. Но и отказаться от подобного возвращения трудно. Давай, я покажу тебе дом, и двор, и площадку, где я был маленький? Конечно, это так интересно! И вот через несколько десятков лет ты приезжаешь туда – и смотришь уже совсем другими глазами.

Не беда, если что-то исчезло за прошедшие годы; хуже, что все осталось таким же – и все изменилось. Вот большие качели: на скошенных железных опорах металлический круг с двумя скамеечками напротив друг друга. Чем они только не были – поездом дальнего следования, космическим кораблем, боевой машиной, а по гладким наклонным столбам опор можно было вскарабкаться на самый верх, на ту головокружительную высоту, что доступна лишь самым отчаянным храбрецам, облаченным мамой в колготки и шорты. Ныне это нелепое, покосившееся сооружение, сиротливо возвышающееся посередине площадки; краска облупилась местами, и деревянные рейки сидений и пола провалились и выпали, в само сидение теперь вряд ли втиснешься, а верхушку можно накрыть ладонью, даже не вставая на цыпочки. На железе опор капли мертвой росы, седая печальная паутина растянулась в верхней части треугольного стального каркаса.

В едва заметной песочнице вместо песка какой-то курган из слипшейся желтой глины; бетонная горка в виде фантастического левиафана, сквозь круглый глаз которого так весело было лазать насквозь, наверное, выросла в землю, как

древняя башня – иначе как она могла стать такой маленькой? Лавочки осиротели без давно ушедших в тихую вечность старушек, а сама площадка, в границах которой легко помещался раньше целый фантастический мир, не нанесенный на карты, съезжилась и стопталась, будто пыльный изношенный половик. Бесприютно и пусто – на забытых площадках далекого детства всегда пусто, вы замечали? Еще и дождь начинается – моросит себе, будто сочатся слезы из старческих глаз: как я рад тебя видеть, дружок, ты вернулся! Простите, не узнаю... Ну как же: весна, и ручьи, и мама – это я, тот самый день, просто ты запомнил меня почему-то солнечным...

Мир детства наполнен преизбыточествующей любовью; мир взрослой жизни – куда каждый из нас вступает всегда раньше, чем того хочет – не любит никого вовсе, как угрюмый администратор, только и умеющий, что ежедневно ставить галочки в журнале посещений, пока не выведет напротив имени равнодушное “выбыл”.

И все это грустно, конечно, как вообще печальны ушедшие годы, но ради того сладко щемящего чувства, какое испытываешь, возвращаясь вдруг в те места, где прошло детство, ради трепетной горечи узнавания все же стоит хотя бы раз вернуться обратно. У меня даже дыхание перехватило, когда отец свернул в позабытую, но такую знакомую арку и въехал во двор дома на Лесном проспекте.

В белесом предрассветном тумане я увидел все разом: порыжевшая от времени монументальная рама футбольных ворот без сетки; огромный тополь с изборожденным почтенными морщинами могучим стволом – упрямо нагнул, словно противостоял ветру времен; рядом с ним раньше теснились во множестве бывшие дровяные сараи, и с крыши крайнего, если посильней разбежаться и, главное, не трусить, можно было допрыгнуть до нижней извилистой ветки и повиснуть на ней с торжествующим воплем. Уже в мое время в сараях хранили вместо дров уголь для кочегарки, а теперь от них осталось только постепенно зарастающее упрямой жесткой травой широкое корявое поле; на нем прилепились друг к другу три гаража, вкривь и вкось сбитых из листового железа. Я посмотрел и прикинул: наверное, если хорошо оттолкнуться, с крыши крайнего левого все еще можно допрыгнуть до ветки тополя. В центре двора – коренастая кирпичная будка котельной; к ней с одной стороны вплотную пристроен одноэтажный приземистый блок старой прачечной, с другой в небо торчит высокая черная труба на залитой бетоном опоре, по которой мы выбирались на плоскую крышу, покрытую черным вязким гудроном. А вот пара

ярких желтых качелей, разноцветная шведская стенка и железная горка в виде космической ракеты появились во дворе уже позже – в моем детстве нас такими изысканными развлечениями не баловали.

Этот дом был построен в 1930-м году – четырехэтажный, грязно-желтый, с большими окнами и такой длинный, что для путешествия от одного конца до другого требовались веские основания. Суровая простота той эпохи не предполагала излишеств и буржуазного украшательства, только бескомпромиссные линии и углы: вытянутый прямоугольник фасада, квадраты окон, а внутри – прямые широкие коридоры квартир с девятью одинаковыми просторными комнатами, высокими потолками, огромной кухней и туалетом таким крошечным, словно он был вынужденной, но временной уступкой потребностям несовершенного еще человеческого естества. Кладовка и то была больше – в детстве она нам казалась заповедной пещерой, едва освещенной тусклой лампочкой под потолком, с грубо сколоченными полками вдоль стен, сплошь уставленными пыльными банками с закатанными овощами, пачками круп, спичек и соли, черной башней автомобильных покрышек в углу, подвешенными сетками с проросшим луком, землистыми мешками с картошкой, тяжелыми ящиками с грубым мужским инструментом, какими-то тусклыми железяками, похожими на запасные части для механических роботов, и занавесками из пожелтевших простыней, прикрывавшими огромные потертые чемоданы и мягкие тюки с вещами и скарбом, которые не разбирали едва ли не с самой войны; здесь пахло машинным маслом, землей, временем, пылью и тайной.

Наша квартира располагалась на втором этаже в центральной шестой парадной. Мы с родителями занимали две комнаты с окнами во двор слева от входной двери – для семьи из трех человек настоящая роскошь по тем временам, доставшаяся благодаря бабушке, которую я почти не запомнил. У меня с детства была своя комната, а потому все приятели-сверстники, которым повезло куда меньше, обычно толклись у меня, даже если меня самого не было дома. Например, Чечевицины – у них тоже имелось две комнаты по той же стороне коридора, но и детей в семье было четверо: старший Митька, мой ровесник, Лёнька на три года младше, а еще совсем мелкие Таня и Маня, которые обыкновенно забирались с куклами и игрушечными сервизами ко мне на кровать, пронзительным девчачьим визгом оберегая от любых посягательств эту самозахваченную территорию. Чечевицины были похожи друг на друга, как редко бывают схожи между собой даже братья и сестры: все с одинаково круглыми, добродушными физиономиями, причиной чему было, наверное, невероятное сходство Чечевица-старшего, работавшего машинистом на

железной дороге, с его женой Зиной, ибо и отец, и достойная мать семейства тоже были круглолицыми, круглощековыми и румяными, будто яблоки «Джонатан». Две комнаты Чечевициным дали лишь потому, что счастливый случай подарил им разнополых детей, и свою жилплощадь они тоже делили по гендерному признаку: отец с мальчишками размещались в одной комнате, где для сыновей была сколочена массивная двухъярусная кровать и стоял обеденный стол, позволявший считать эту мужскую обитель общей семейной гостиной, а мать с девочками – в другой, куда ход всем прочим заказан был крепче, чем кадетам – в пансион благородных девиц. Конечно, будучи многодетной семьёй, они стояли в льготной очереди на жилье, и каждое воскресенье ездили куда-нибудь на дальнюю окраину города посмотреть, как строится их будущий дом – полчаса на метро, а потом еще минут двадцать автобусом – но всё время что-то не складывалось, квартиры перераспределялись по воле засевавшей в Исполкоме неприступной Фортуны, имевший свой взгляд на предмет, а Чечевициным обещали жилье в другом месте, как правило, еще дальше, и они снова всем своим неунывающим табором катались по выходным с надеждой смотреть на котлован или едва показавшийся из земли фундамент посреди голого пустыря.

Напротив Чечевициных жил Георгий Амиранович Деметрашвили: врач-хирург, человек редкой эрудиции, мудрости и обаяния, а еще подлинной интеллигентности – без брюзжания, высокомерия, и рефлексии, хотя сейчас с трудом верится, что такая разновидность ее существует. У него была жена Нина, женщина фантастической, какой-то величественной красоты, и сын Дато, мой ровесник – тот самый, что первым в школе сконструировал стреляющий спичечными головками пугач, ручную гранату из двух сжатых гайкой болтов с зарядом селитры, и который выжег смесью магния с марганцовкой на полу в моей комнате огромную черную дыру, долго и безуспешно скрываемую прикроватным ковриком.

Еще был дядя Валя Хоппер, что жил в комнате справа от входа – всегда модно одетый, пахнувший импортным одеколоном, работавший где-то, как говорили, «в торговле», и по такому случаю часто угощавший нас конфетами «Старт» и «Коровка», а то и дефицитными «Белочкой» или «Красным маком». Через коридор от родительской двери была комната дяди Яши, в звании прапорщика служившего водителем в воинской части, и его супруги, добрейшей тети Жени, которая заведовала дворовой прачечной, что давало жителям нашей квартиры решающее преимущество перед всем домом во время воскресных стирок. Детей у них не было, и по этому поводу им все сочувствовали, но виду не подавали, а они сами не подавали виду, что знают о том, что все им сочувствуют.

А еще была Люська, жившая с отцом-инвалидом в двух комнатах у самой кухни.

Люська была старше и меня, и Митьки с Дато на десять лет. Это и так, прямо скажем, немало, а в детстве десяток лет составляют несколько геологических эпох, которые отделяли нас от нее непреодолимой пропастью, но в то же время делали, начиная с определенного возраста, томительно привлекательной. Одно из первых детских воспоминаний: воскресенье – в те времена, кстати, единственный выходной на неделе, – мама с соседками собрались в прачечной для большой стирки, мокрый пол в мозаичную мелкую плитку, валит пар, жарко, влажно, солнечные лучи лупят через узкие окна под потолком, с грохотом хлещет горячая вода из широких кранов, звенят голоса, рассыпается эхом смех, гремят жестяные корыта, трещат стиральные доски, пахнет мылом и мокрым бельем. Мне года четыре, и я сижу на крашеной деревянной скамеечке с леденцовым “петушком” в руке. Женщины то и дело целуют меня горячими и мокрыми от пара губами, у мамы на голове поверх толстых кос повязан широкий платок, тетя Нина Деметрашвили в длинном черном халате красивыми сильными руками мнет и отжимает белье, а Люська, которой уже целых четырнадцать, тоже здесь, и рано оформившаяся грудь ее тяжело колышется под пропитанной влагой сорочкой, а тренировочные штаны, закатанные до колен, самым бесстыдным образом обтягивают крупную попу и обнажают сверкающие белые икры.

Потом в прачечной поставили механические стиральные машины, а у нас дома появилась своя ванна, для которой выгородили место на кухне и прикрыли кое-как занавесочкой. Сколько мне было тогда? Наверное, уже лет восемь. Мы с Митькой Чечевициным и с Дато будто настоящие заговорщики караулили, когда Люська пойдет купаться, подкрадывались к дверям кухни и пытались подсматривать – хотя смотреть можно было разве что на смутный силуэт под струями душа за занавеской, надеясь, что вот-вот из-за ее краешка мелькнет вдруг голое тело. Люська, конечно, про эти забавы знала, ругалась на нас, нарочито смешно и громко, а мы дразнились в ответ, подначивая друг друга и прячась за дверным косяком. Кончилось это тем, что однажды она вдруг резко откинула занавеску и к неопишуемому нашему ужасу предстала во всем грозном великолепии своей наготы – так, верно, Актеон ужаснулся, узрев обнаженную Артемиду. Люська стояла, картинно нахмурившись и уперев руки в крутые бока, мокрые волосы разметались по круглым плечам, блестели от горячей воды и мыльной пены полные груди и бедра, а мы трое, хохоча и вопя от страха, в панике припустили по коридору к дверям, да так, что не остановились, пока не выбежали во двор и не укрылись за дровяными сараями, едва переводя дух от

бега, ужаса, стыда и смеха.

Весело было. Так бывает только в воспоминаниях детства: тебе хорошо, и кажется, что и все вокруг тоже счастливы: у взрослых настоящая, полезная людям работа, у тебя товарищей целый выводок – лучший друг Славка из третьей парадной, неугомонный Дато Деметрашвили, тихий и странный немного Ваня Каин с четвертого этажа, братья Чечевицины, и те из них, кто помладше, запросто донашивают за тобой штаны или рубаху без всяких неловкостей и стеснений. Вечером иногда можно посмотреть телевизор в комнате у дяди Вали, где, если показывали футбол или хороший фильм, собирались соседи даже с других этажей; в воскресенье на утоптанной площадке у футбольных ворот играть в «американку» или «квадрат», пока папа и дядя Яша с приятелями «забивают козла» за деревянным столом во дворе и пьют пиво, наливая его из бидона в большие граненые кружки. Можно забраться вместе с Ванькой Каином на чердак в его «штаб» из обломанных досок и смотреть, раскрыв рот, как он рисует черных рыцарей и жутковатых красавиц в причудливых острокрылых платьях; можно дразнить Люську и бегать от нее по двору, пока ей не надоест; можно отправиться в «прерии» – пустырь у железной дороги – и взрывать там карбид в бутылках с водой, или играть в индейцев с «ковбойцами», или подкладывать на рельсы длинные гвозди, радуясь, когда проходящий состав их удачно расплющит, чтобы потом выточить самодельные ножики. Да мало ли что еще можно.

А потом все как-то незаметно меняется – обычно, начиная с самого слабого звена в казавшейся такой прочной цепи счастливых безоблачных дней.

Отец Люськи был самым старшим в нашей квартире. Он защищал Ленинград у Невской Дубровки, выжил в чудовищной мясорубке во время десанта на левый берег Невы, прошел всю войну, был дважды ранен, трижды награжден за личную храбрость боевыми орденами и медалями, а потом, уже весной сорок пятого, в Австрии, потерял ногу, подорвавшись на противопехотной mine. Дочь он воспитывал один: когда Люсе не было и трех лет, ее мать погибла от ножа уличного налетчика. Государство обеспечило овдовевшего героя двумя просторными комнатами и пенсией инвалида войны, но этого иногда маловато для счастья. Он был хороший мужик, добрый и рукодельник – помню, санки мне скотил и подбил полозья железом – но только когда не «закладывал за воротник», а это с ним случалось частенько. Ему удавалось довольно долго держаться, балансируя между состояниями «выпивает» и «пьет», но в девятнадцать лет Люська выскочила замуж – «за афериста», как говорили мама

с соседками, – выпорхнула из родного гнезда, и оставшийся в одиночестве родитель запил уже по-настоящему. В квартире сочувствовали, терпели и, чем могли, помогали в быту. Через два года Люська вернулась: уже совсем взрослой женщиной, какой-то измученной, всегда заведенной и недружелюбной; она проходила по коридору с пустым взглядом, ярко покрашенным ртом и едва здоровалась сквозь зубы со стиснутой в них сигаретой. «Покатилась по наклонной», – сетовали мама, тетя Женя, Зина Чечевицина и Нина Деметрашвили. Из двух комнат у кухни то и дело звучали скандальные крики и звон пустого стекла. Года через три Люська снова исчезла, отец ее окончательно потерял себя на дне бутылки, но закономерный финал этой драмы все досматривали уже без меня, да и без моих родителей.

В армию я ушел в 1974-ом, а в следующем году отцу, как “ребенку Блокады”, к тридцатилетию Победы вне очереди неожиданно дали отдельную квартиру в новом доме на Серебристом бульваре. Я, помню, узнал об этом из письма и очень обрадовался. И мама радовалась, и папа, конечно, тоже, потому что отдельная квартира означала, что теперь мы будем жить хорошо: собственный теплый клозет, ванна в отдельном помещении, а не на кухне, никаких дворовых посиделок за домино, на баяне никто не начнет наяривать в открытое среди ночи окно. Отдельная кухня, опять же – готовишь в одиночестве и ни с кем не болтаешь, слушаешь себе радио. Никто в двери не ломится, не лезет в гости без стука; честно говоря, вообще из соседей никто не приходит просто потому, что нет до тебя дела. Все заняты важным: ездят молча на службу и тащат в огражденные бетонными перегородками квадратные метры стенку, мягкую мебель и цветной телевизор, чтобы быть уж точно не хуже, чем все.

Отец с мамой принадлежали тому поколению, в котором ценили и берегли человеческие связи, и они не могли просто забыть и выбросить из жизни людей, с которыми два десятка лет прожили в одной квартире в горе и в радости, вместе растили детей и помогали друг другу. Странно и стыдно признаться, но что уж: я после армии не связывался ни с Митькой Чечевициным, ни с Дато, ни с Ваней Каином, хотя мы с ними и выросли вместе, и даже в одной школе учились. Как-то не собрался все, знаете, так бывает. А вот папа держал связь с соседями: созванивался он, правда, редко, и в основном с дядей Яшей, но открытки на праздники и к дням рождений они с мамой посылали на Лесной регулярно, и всегда получали такие же в ответ: старательно написанные от руки простые, сердечные строчки, отправленные по строгому графику, чтобы адресат получил их ровно в назначенный день. Я же только иногда узнавал от отца о новостях из старой квартиры:

- Люськин отец умер, завтра хоронить едем с мамой.

- Валька Хоппер кооперативную квартиру купил, съехал. И еще комнату за собой оставил, какого-то родственника туда прописал, вот жук, а?

- Люська вернулась. Говорят, остепенилась вроде. Работает.

- Дядя Яша на пенсию вышел, звал отметить.

- У Амираныча жена умерла. Тетя Нина, помнишь ее? На поминки не хочешь съездить?

Но я не ездил - ни на дни рождения, ни на поминки, и даже не мог представить такого случая, который привел бы меня снова в дом на Лесном.

И вот, пожалуйста.

\* \* \*

Едва пропела знакомым скрипом дверь парадной, зазвенела, растягиваясь, пружина, едва я шагнул на лестницу, совершенно автоматически переступив выщербленную первую ступеньку, как уже защемило сердце, и я почувствовал себя мальчиком, который возвращается с папой домой после долгой отлучки.

Коротко задремал звонок. За двустворчатой деревянной дверью с цифрой «44» торопливо затопали тяжелые шаги, лязгнул засов, пахнуло горячим домашним духом, и вот в освещенном дверном проеме воздвигся богатырским абрисом дядя Яша и прищурился в сумрак. Коварное время, норовящее сжимать, уменьшать и усушивать воспоминания детства, перед ним спасовало, удовольствовавшись только тем, что проредило волосы на макушке: и без того всегда грузный и мощный, дядя Яша еще больше потолстел и заматерел, даже вырос как будто, и голос звучал так же зычно и трубно.

- Генка! - взревел он. - Генка, здорово!

И сгреб папу в охапку, норовя по обычаю расцеловать троекратно.

– А это кто? – чуть отпустив отца, воззрился на меня дядя Яша. – Неужели Витюха?! Ну и ну! Мужик вырос, смотри как! Я ведь тебя еще вот таким помню!

Он помахал толстым указательным пальцем, потом распахнул навстречу широкие, как пещера, пахучие мужские объятия и зарычал:

– Ну, иди сюда!

Мы обнялись так, что у меня хрустнула грудная клетка, расплывшись о тугой обширный живот, обтянутый военной рубашкой навывпуск.

– Так чего стоим-то?! Идем, там уже все заждались!

– Яша, ну я же просил, без застолий, – заговорил отец, но тот уже увлекал нас с собой в прихожую, оглашая квартиру громогласным:

– Приехали!!!

В ответ на его клич из светящейся ярким и теплым светом кухни откликнулись радостной разноголосицей и металлическим громыханием.

– Давайте, давайте! – подгонял дядя Яша, пока мы с отцом стягивали ботинки у входа. Я быстро осматривался: вешалка та же, старая, на железных крючках синий болоньевый плащ, пустая авоська и скомканный женский зонтик; крашеный коричневый пол совсем поистерся, белая краска на дверях комнат уже пожелтела, как сливки, облупилась и шелушится, будто старая чешуя; а вот обои свежие, в мелкий желтый цветочек, и новый телефонный аппарат в коридоре теперь стоит на полочке, а не висит на стене, как раньше, пропал куда-то старый черный велосипед Чечевицина, зимой и летом стоявший у стены рядом с их комнатами, но я дома, да, несомненно – я дома.

Мы протопали по ставшему почему-то очень коротким коридору и остановились в дверном проеме кухни, словно не решаясь переступить порог прошлого, представшего перед нами ожившей и такой знакомой картиной: выкрашенные снизу зеленым и оштукатуренные сверху стены, железные раковины, огромная старая деревянная плита, превращенная в предмет кухонного гарнитура, отлетевшие плитки на выдавшем виды линолеуме, слева все та же ванна,

прикрытая пёстренькой занавеской, столы празднично сдвинуты, две яркие лампочки без абажуров под потолком заставляют прищуриться после сумрачной прихожей, и завораживающий аромат свежей выпечки, от которого, как и раньше когда-то, в животе немедленно заурчало, а рот наполнился голодной слюной.

- Ну, здравствуйте, здравствуйте!

- Ой, Витенька, не узнать!

- Гена, наконец-то! Привет!

Ночь едва передала свою вахту раннему сонливому утру, но никто из соседей и не думал спать, все были здесь: чуть располневшая и все такая же хлопотливая тетя Женя с покрасневшимся от жаркой плиты и волнения лицом, торопливо вытирающая руки фартуком; и пухлый, уже с обширной розовой плешью, но по-прежнему румяный Чечевицин с женой Зиной; и какой-то волосатый долговязый юнец с жидкими усиками, в котором я с трудом признал Лёньку Чечевицина; и Георгий Амиранович Деметрашвили, отпустивший седую бороду, импозантный, в красивой полосатой рубашке и с мудрым ироничным прищуром:

- Гамарджоба, биджо! Ругу рахар?

- Гамарджоба, Георгий Амиранович! Каргат, каргат! Ще ругу рахар?[1 - Здравствуй, парень! Как дела? - Здравствуйте! Хорошо, хорошо! Как Ваши дела? (груз.)] - ответил я, радостно удивляясь тому, как легко вспомнил те немногие слова на грузинском, что выучил так давно, казалось, что в другой жизни.

- Витюша! Ну, здравствуй, Витюша!

Конечно, и Люська была тоже здесь: годы не были к ней снисходительны, оставив от юности длинные стройные ноги с тоненькими лодыжками, но наградив расплывшейся талией с избыточными складками на боках и усталостью, обосновавшейся в морщинках вокруг глаз. Она обняла меня, клюнула в щеку теплыми губами, и было так странно, что для этого ей пришлось встать на цыпочки.

- Привет...эээ...Людмила, - сказал я смущенно.

- Да какая я тебе Людмила! - она расхохоталась и хлопнула меня ладошкой по груди. - Люся я, Люся!

И чуть покосилась насмешливо в сторону знаменитой ванны, так что мне немедленно захотелось сбежать и спрятаться во дворе за гаражами.

- Ну, что же мы?! - всплеснула руками тетя Женя, когда бурление объятий, восклицаний, похлопываний по спине, приветствий и поцелуев чуть поутихло. - Давайте садиться, я же пирогов напекла!

- Может, по маленькой? - с надеждой спросил дядя Яша.

- Я тебе сейчас дам, по маленькой! - прикрикнула тетя Женя. - Это ты на пенсии, а людям еще на работу сегодня! Да садитесь, садитесь!

Со скрипом и грохотом задвигались табуретки вокруг сдвинутых у окна столов, зазвенели чашки и блюдца, громыхнул черный противень, водруженный на дровяную печь среди алюминиевых кастрюль и покрытых толстым слоем окалины сковородок, и на разномастные тарелочки мягко легли нежнейшие куски пышного пирога с разваливающейся начинкой, источающей обжигающий пар и густой сытный дух яйца и капусты. Над столом за клубился табачный дым. За распахнутым окном едва заметно светлели синие сумерки, свежий утренний воздух врывался в разогретую кухню. Мне стало весело и хорошо, будто в детстве, когда к кому-нибудь приезжали среди ночи родственники издалека, и тогда по коридору тащили чемоданы и раскладушки, дом наполнялся запахами чужих вещей, прокопченного дымом вагона дальнего следования, женщины переговаривались радостными и звонкими голосами, и можно было долго не спать, сидеть со взрослыми, пить чай с пряниками и слушать разговоры.

- Митька на севера подался, за длинным рублем, газопровод какой-то строит. Девчонки все замуж повыскакивали, у Татьяны уже двое детишек, Маня к декабрю родит, вот, один Лёнька с нами остался, катается с отцом помощником машиниста, да все не женится никак, разборчивый очень...

- Ну мам!

- И у нас Витя вот тоже пока на холостом положении...
- Ой, никогда бы не подумала! Ты что это, Витюша, как же так? Красавец такой, девчонки, наверное, табунами бегают!
- Да все как-то мимо пробегают...
- Дато врачом работает, в области. Пошел, так сказать, по стопам.
- Тоже хирург?
- На «скорой помощи». Молодец, получается у него.
- Вы ешьте, ешьте, пока горячие!
- Может, все-таки по маленькой?
- Яша!..
- А я нормировщицей на «Красном каторжанине» устроилась, работа как работа, не жалуясь. Комнату отцовскую сдаю, по знакомству, женщине одной – она проводницей работает, так все больше в рейсах...
- Надо было, наверное, Ванечку Каина позвать, он часто про тебя спрашивает...
- Он все еще здесь живет?
- Так куда ему деваться, все там же, с мамой...
- Что же, слышно, когда вас расселять будут?
- Да не знаем, то говорили, что в следующем году, то позже. Вроде как в планах написано, что до девяносто первого года точно расселят всех...
- Это еще когда будет!

– В комнаты ваши кого только не селили, а вот недавно семья студентов въехала, хорошие ребята такие, с двумя детишками, он из Воркуты, кажется, а она со Львова, сейчас у родни на каникулах...

– Я себе «ушастого» взял по случаю с рук, ребята знакомые из гаража над движком поколдовали – летает! Девяносто километров в час можно выжать!

– Ого, я на своем ИЖе столько не рискую давать...

– Яша, третий кусок уже тянешь, ну куда! Надо же еще Витиным друзьям оставить...Кстати, Витюша, когда они придут-то?

Меня словно разом вырвали из уютного сна. Мы переглянулись с отцом и оба уставились на циферблат настенных часов: время перевалило за пять утра. Все замолчали и выжидающе смотрели на меня.

– Ну... – я замялся, – мне еще их нужно встретить...в общем...

– Так а где они сейчас? – спросил Чечевицин-старший.

В голову ничего не шло, и я честно ответил:

– Внизу. В машине ждут.

– Нет, ну что это такое, это же не по-человечески! – укоризненно загудел дядя Яша. – Гена! Витя! Давайте же их сюда, зачем в машине людей держать?! Познакомимся, посидим!

– Дядя Яша, – сказал я, стремительно превращаясь из Витюши в капитана уголовного розыска Адамова, – мы же не просто так их попросили подождать. Это люди довольно стеснительные, у них есть свои обстоятельства, так что знакомиться и сидеть они, пожалуй, не расположены.

Дядя Яша растерянно обвел взглядом замолчавших соседей. В наступившей тишине отчетливо тикали часы на стене.

– Ой, что же я, мне же на работу уже выходить скоро, а я все сижу, – громко спохватилась Люся и встала. – Так обрадовалась, что увидела вас, даже забыла про все!

– Да и мне сегодня с утра на кафедру, – неторопливо поднялся Георгий Амиранович. – Витя, ты же здесь остаешься, не уезжаешь?

– Здесь, здесь, – заверил я.

Все разом засуетились, женщины принялись убирать со стола, в железной раковине зазвенели чашки и зашумела вода.

– Нет, ну как же так, ну не по-людски же... – пытался протестовать дядя Яша, но получил от тети Жени ладонью по гулкой спине и нехотя, как недовольный медведь, которого гонят с арены цирка в постылую клетку, отправился к себе комнату.

– Я вам сейчас только дверь открою, покажу все, ключ отдам и тоже пойду, – сказала тетя Женя. – Мы с Валею Хоппером созвонились, он сказал: для Виктора ничего не жалко, пусть живет, сколько надо, хоть один, хоть с друзьями. А чего жалеть-то, комната все равно пустая стоит. Мы там приготовили для гостей, что могли, на скорую руку.

Она открыла двери и щелкнула выключателем. Давно не обитаемая большая комната была чисто прибрана: свежeweымытый лакированный пол нарядно блестел в свете новой яркой лампочки под потолком, на облупившемся подоконнике не было ни пылинки, ни сора, а вместо отсутствующих занавесок свисала заботливо прицеплена на карниз желтоватая, застиранная и местами искусно заштопанная простыня. У левой стены стояли две бывалые раскладушки, аккуратно застеленные и накрытые солдатскими одеялами, поверх которых лежали сложенные “гостевые” махровые полотенца. Справа привалился к стене хромоногий, выдавший виды кухонный стол, рядом с ним стул с деревянной спинкой и табуретка. На одинокой тумбочке у двери свернулся улиткой полосатый матрас с торчащей из него простыней.

– Раскладушек нашлось только две, а это мы для тебя положили, – объяснила тетя Женя. – Не знали, где ты захочешь лечь, здесь, или, может, к Лёньке пойдешь, у него же теперь комната отдельная.

– Спасибо большое, тетя Женя, – растроганно сказал я. – Правда, спасибо.

Она махнула рукой.

– Ой, не выдумывай! Не чужие друг другу люди. Все, пошла, не буду мешать, а вы тут располагайтесь.

Тетя Женя сунула мне в руку два теплых железных ключа – от комнаты и от квартиры, расцеловалась с папой, с какой-то тихой, печальной лаской погладила меня по плечу и, не оборачиваясь, вернулась в кухню, где позвякивала посуда и негромко переговаривались женские голоса.

Стало тихо, неловко и пусто.

– Постарела Женя, – задумчиво сказал отец и вздохнул. – Да и я, наверное, тоже. Ну что, пойдем?..

В полумраке багажника глаза у элохим Яны сверкали, как колючие зимние звезды.

– Извини, – сказал я. – Небольшая задержка.

Она фыркнула, оттолкнула протянутую руку, одним гибким движением, как распрямившая кольца змея, выскользнула наружу, выдернула из багажника свою соломенную сумку и принялась с досадой оправлять смявшийся сарафан. Савва лежал неподвижно, уткнувшись в изнанку заднего сидения, и размеренно, спокойно сопел.

– Савва Гаврилович! – я потрепал его за ногу.

– Он спит! – сердито отозвалась Яна.

– Здоровая нервная система у человека, – констатировал я. – На зависть просто. Просыпайся, Савва Гаврилович, приехали!

Мы кое-как растолкали Ильинского и не без труда извлекли его из багажника.

- Подождите в парадной. Я подойду через минуту.

Снова скрипуче пропела пружина и тяжело хлопнула дверь. Отец проводил взглядом Савву и Яну, помолчал немного и протянул руку. Пожатие вышло серьезным и крепким.

- Не пропадай только, сын. Постарайся дать о себе знать, когда сможешь.

- Отсюда мне вам звонить нельзя, папа, а на работе я в ближайшее время не появлюсь...

- Понимаю. Все равно, уж изыщи такую возможность. Мама будет волноваться. И я тоже.

Мы обнялись. Говорить больше было не о чем. Отец кивнул на прощанье, сел за руль и белый ИЖ-комби, заворчав, неспешно выбрался со двора, мигнув на прощание красным огнем стоп-сигналов. Я постоял немного, глядя в небо: невидимый светлеющий горизонт постепенно размывал ночную глубокую синь в серое и голубое.

Притихшая квартира встретила нас остывающими запахами пирогов, табачного дыма и тишиной, вязкой, как утренний сон.

- Если хотите умыться или воспользоваться туалетом, то рекомендую сделать это прямо сейчас. Люди скоро начнут на работу собираться, а вас видеть никто не должен.

Савва ничем пользоваться не пожелал - наверное, так и не проснулся толком, - а потому просто стянул с себя ботинки, брюки, рубашку, которые по-пионерски аккуратно сложил на сидение стула, и принялся устраиваться на раскладушке, наматывая на себя одеяло наподобие кокона. Раскладушка отозвалась душераздирающим скрипом и стоном ржавых пружин.

- А я бы умылась, - заявила Яна. - Где тут ванная?

- Пойдем, я покажу.

Она взяла оба полотенца, я выключил свет в комнате, вышел и повел Яну по коридору мимо закрытых молчаливых дверей. Синеватый предутренний полусвет наполнял пустую и тихую кухню, размывая очертания и сглаживая углы. Отчетливо тикали часы на стене. На одном из столов стояла большая эмалированная миска, накрытая глубокой тарелкой, поверх которой лежала записка – широкая полоса оторванных газетных полей с крупной надписью карандашом: «ВИТЯ! Это для твоих друзей».

Яна с любопытством оглядывалась, будто кошка, попавшая в новый дом.

– Вот тут, – сказал я, махнув рукой в сторону темного закуртка за пластиковой занавеской, где под похожим на склоненный подсолнух старым душем стояла монументальная чугунная ванна с пожелтевшей эмалью. Яна с деланным удивлением приподняла белесые брови и сморщила носик. Потом стряхнула с ног маленькие босоножки, распустила волосы и, не успев я и глазом моргнуть, как она одним быстрым движением спустила с худеньких плеч сарафан, который соскользнул на пол у ее босых ног, нагнулась и принялась крутить ручки широкого крана, настраивая температуру воды. Девчоночьи тонкие трусики смялись, свернувшись в полоску, и оголили белую, как алебастр, круглую попу, вызывающе светящуюся в утреннем полумраке.

Я нахмурился и сурово покашлял. На мой взгляд, эротичного в Яне было не больше, чем в пластмассовом манекене в витрине, но в те благословенные времена, когда обнаженное женское тело еще не лезло в глаза со всех экранов, обложек и объявлений, на голый манекен тоже постеснялись бы глазеть – во всяком случае, прилюдно. Я так точно не собирался созерцать ничего подобного.

Яна сосредоточенно орудовала вентилями, время от времени пробуя воду пальчиком и то тихо ойкая, то шипя в зависимости от результата. Я кашлянул еще раз, погромче.

– Что? – она повернулась, изогнувшись так, что стали заметны розовые девичьи соски, и непонимающе уставилась на меня.

– Занавеску задерни, пожалуйста, – спокойно попросил я. – Не надо тут разгуливать в...

Я хотел сказать “в чем мать родила”, но потом вспомнил, что никакая мать не рождала ни Яну, ни ее земное обличье, а потому просто закончил:

– ... в голом виде.

– Прости, – она улыбнулась, вздернув верхнюю губу и блеснув белыми зубками. – Все никак не привыкну.

Занавеска задернулась, и через минуту наконец-то летним ливнем зашумел душ. Я был готов поклясться, что вся эта мизансцена была разыграна специально, с одним только ей понятным умыслом, да только со мной такие номера не проходят.

Я стоял у открытого окна и дымил сигаретой, глядя как утро встает над широкими пустырями между Лесным проспектом и далекой Чугунной. По железной дороге на высокой насыпи тяжело прогремывал длинный состав из товарных вагонов и грязно-бурых цистерн. Легкие неприятно стискивало и жгло: кажется, в последнее время я курил слишком много.

Шум воды стих. Зазвенела кольцами занавеска. Яна вышла, завернутая до подмышек в линялое желтое махровое полотенце, а второе, с рисунком жар-птицы, было накручено на голове, как тюрбан, по обычаю женщин всех цивилизаций Вселенной.

Она подхватила с пола босоножки и сарафан, я взял миску с пирогами, и мы отправились в комнату. Яна шла впереди, вертя бедрами с дерзкой грацией девчонки-подростка, которая совсем недавно осознала, что привлекает мужское внимание.

Савва негромко сопел, завернувшись в одеяло, будто в спальный мешок. Я поставил миску на стол и подошел к Яне:

– Поговорим?

Она стояла почти вплотную, глядя на меня снизу вверх. От нее пахло водопроводной водой и хозяйственным мылом, как от чисто вымытой куклы.

- О чем? – так же тихо отозвалась она.

- Ты обещала, что постарайшься мне все объяснить, только позже. Кажется, позже уже наступило.

- Хорошо, – шепнула Яна чуть слышно и слегка улыбнулась. – Отвернись.

За спиной зашуршала легкая ткань, глухо стукнули в пол тяжелые каблуки босоножек. Когда я повернулся, она уже снова оделась, встряхнула руками мокрые волосы, ставшие от влаги тяжелыми и темно-рыжими, словно древняя ржавчина, а в лице ее больше не было ничего насмешливого или легкомысленного.

- Нам понадобится тихое место, где никто не побеспокоит, – сказала Яна. – И желательно не в замкнутом контуре.

- Чтобы поговорить? – глупо спросил я.

- Разговорами здесь не обойдешься, – веско ответила она. – Ты ведь хочешь знать все, не так ли?

Я кивнул, чуть подумал и произнес:

- Хорошо. Пойдем.

Спящего Савву я запер на ключ. Осторожно, стараясь не лязгать замком, закрыл входную дверь. На широкой лестнице застыла неподвижная тишина. Пыльные окна тускло светились в предутреннем сумраке. Мы стали подниматься вверх по пологим ступеням мимо спящих квартир, тихий шелест шагов отзывался шепотом осторожного эха.

Черная металлическая лестница на площадке последнего этажа вела вертикально вверх, к квадратному люку чердака. Массивная деревянная крышка, разбухшая от старости, с натугой подалась и откинулась, гулко ударив в пол и взметнув облако пыли. Я забрался вверх и протянул руку Яне:

- Полезай.

У нее были тонкие холодные пальчики, а глаза отсвечивали в сумраке серебром. Она скользнула мимо меня, выпрямилась, едва не коснувшись макушкой низкого черного потолка, обвела взглядом чердак и выдохнула:

– Ух ты!

Чердак не имел перекрытий, только толстые опорные балки делили его на секции по числу парадных длинного старого дома, и казавшееся бесконечным пространство тянулось широкой приземистой галереей по обе стороны от открытого люка, теряясь во тьме. Неподвижные призрачные колонны синеватого света, проникающие через открытые лазы на крышу, делали его похожим на галерею подводного замка или трюм затонувшего корабля, полного тайн и сокровищ. С невидимых веревок обессилевшими парусами свисали белесые полотнища сохнувшего белья, к которым вели пыльные цепочки следов в шлаке насыпного пола, а редкие дощатые вымостики походили на покосившиеся палубы повидавшего штормы фрегата. Это был мир мальчишеских секретов и приключений, изредка нарушаемый вторжением взрослых, кощунственно сушивших здесь простыни и подштанники, или усталого участкового дяди Бори, который время от времени гонял нас отсюда, тяжело кряхтя и пачкая серой паутиной новую синюю форму. Яне этот мир был как раз впору, а вот я из него уже явно вырос, и стоять здесь мне теперь приходилось, изрядно согнувшись.

Мы направились по мягкому шлаку в сторону ближайшего люка на крышу. Я автоматически отмечал детали: помятое ведро без ручки, тряпичная пыльная сумка, раздутая от неопознаваемого содержимого, стоптанный башмак – и вздрогнул, так резко остановившись, что Яна, ойкнув, налетела на меня сзади.

– Что такое?

Справа, в темном углу, за толстой как вековое дерево балкой примостилось кривобокое сооружение размером чуть меньше будки сапожника, кое-как сколоченное из неструганых досок, облупившейся старой двери и рыжего железного листа – я сам притащил его сюда из «прерии», и, пока доволком до дома и занес на чердак, порвал об острые кромки штаны в двух местах и поранил ладони. Когда это было? Лет двадцать назад?.. В темный прямоугольник двери, прикрытый толстым куском мешковины, с трудом бы протиснулся взрослый мужчина некрупных размеров, но прекрасно помнились те времена, когда мы набивались внутрь втроем, а то и вчетвером.

- Это штаб, - ответил я. - Удивительно, столько времени минуло...

Я осторожно просунул руку в узкое окошко, криво выпиленное в дощатой стене, привычно нащупал замусоленный тонкий шнурок и тихонько дернул. Раздался чуть слышный щелчок и внутри зажглась тусклая лампочка. Я успел заметить пыльное солдатское одеяло на полу, пару потерявших форму грязных диванных подушек, низенькую, заляпанную краской деревянную табуреточку, испещренные штрихами и линиями листы бумаги на стенах - и поспешил отвернуться, раньше, чем вспомнил, почему это сделал.

Яна с любопытством откинула полог из мешковины и заглянула внутрь.

- Не советую, - поспешно предупредил я.

Она удивленно обернулась.

- Хотя...тебе, наверное, это не повредит.

Но уверенности в этом я не испытывал, хоть бы Яна и была трижды субквантовой элохим. На пыльных чердаках далекого детства во всех углах таятся воспоминания и секреты, и не все они добры к чужакам.

«Штаб» мы сколотили на четверых: я, Митька Чечевицин, Дато и Ваня Каин с четвертого этажа - но скоро как-то так получилось, что это место стало убежищем и мастерской одного Вани, куда мы приходили к нему, как в гости; наверное, потому, что он проводил тут почти все свободное время, пока мы гоняли мяч во дворе или мотались по пустырю у железной дороги. Оно и понятно: он жил с матерью в одной комнате, сверстников в квартире не было, одни суровые молчаливые мужики, крупные и угловатые, с широкими как лопаты ладонями, и их прежде времени поблекшие жены с настороженными взглядами; ни своего угла, ни соседа-приятеля с отдельной комнатой, где можно было бы отсидеться в относительном покое - а покой Ване был нужен, ибо его художественные опыты требовали тишины и сосредоточенности. Вообще, умение по-настоящему хорошо рисовать - навык, всегда вызывающий уважение в ребяческом коллективе, а способности рисовать захватывающе страшные картинки почетны вдвойне: детям нравится страшное. Незрелая психика обыкновенно тяготеет к ужасному и пугающему, повинуюсь нехитрой

подсознательной логике: я боюсь того, что сильнее меня, а сила всегда привлекательна для незащитного по природе ребенка. Ваня с его талантом рисовать до жути правдоподобных чудищ, зловещих рыцарей и inferнальных старух, мог бы стать истинной звездой двора и школы, но к суетной славе он не стремился, а закованных в шипастые латы героев и монстров рисовал, как говорится, вполсилы, исключительно из дружеского к нам расположения. Во всю мощь его странный дар раскрывался, когда он творил для себя, и этих рисунков не показывал уже никому – да мы бы и сами не стали смотреть, даже и «на слабо», нет уж, спасибо. Особенно после того случая, как у Вани однажды отобрали его альбом хулиганистые ребята с Чугунной.

Ване было тогда лет семь. Теплым майским днем он, по случаю солнышка и хорошей погоды, выбрался из дому и пристроился на самодельной лавочке в тенике рядом с прачечной. Рисовал он всегда увлеченно, покрывая стремительными штрихами лист за листом, и угрозу своевременно не заметил: его подзатыльником сбили на землю, выхватили альбом и, торжествуя хохоча и улюлюкая, умчались с добычей прочь под отчаянные протестующие крики Вани и негодующие возгласы видевших это безобразие соседок. Собственно, от них мы потом и узнали, что, не успели высохнуть на щеках Ваньки Каина обидные горькие слезы, а коллективная совесть двора в лице нескольких энергичных воинственных женщин во главе с нашей тетей Женей еще только планировала акт возмездия, как вдруг вновь появился один из налетчиков – как раз тот, что схватил альбом. На отчаянного шалопаю-подростка, совершающего лихие налеты в чужие дворы, он уже не походил: был тих, бледен, а светлые давно нестриженные волосы стояли дыбом, как будто их как следует начесали пластмассовым гребешком, и окружали испуганную чумающую физиономию подобием ореола. В разом наступившей тишине он осторожно и как-то бочком подошел к Ване, протянул альбом, очень вежливо извинился шепотом, даже поклонился как будто, и исчез столь стремительно, словно его унесло порывом внезапного ветра.

Более ни его, ни его товарищей у нас во дворе никто не видел. Мало того, хищная шпана с Чугунной улицы после этого случая вообще перестала наведываться к нам во двор.

Лично я Ванины художества увидел лишь раз, и то мельком, случайно, но мне хватило: чувство, когда переплетение хаотичных штрихов и линий как будто бы ожило и оттуда на меня вдруг полезло нечто запредельно уродливое, запомнилось на долгие годы. Была еще версия, что любознательный Митька

Чечевицин однажды не удержался и тайком заглянул в один из альбомов, и что с этим событием как-то связано то, что месяца два или три потом тетя Зина, скорбно охая, то и дело выносила сушиться во двор простыни и матрас с застиранными желтоватыми пятнами – но Митька был моим другом, и подробности я уточнять не стал.

Яна засунула голову в узкую прорезь окна и замерла. Я стоял рядом и смотрел, как тончайшая пыль кружится в световых столбах и медленно возносится к слуховым окнам, исчезая в белесом свечении, словно легчайший песок в призрачных песочных часах, отмеряющих идущее вспять время.

– Ты знаешь, кто это рисовал?

Голос сквозь стенки из старых досок звучал приглушенно.

– Знаю, – ответил я. – Ваня Каин. Мой друг детства.

– Это очень хорошо. Просто очень.

Она вынырнула из окошка и посмотрела на меня с недоверчивым восхищением, как будто автором развешенных по стенам чердачной хибары рисунков был я сам.

– Ты непременно должен меня с ним познакомить!

– Познакомлю, – пообещал я. – А сейчас нам, наверное, лучше поторопиться. Разговор, насколько я понимаю, предстоит долгий, а время не ждет.

– Я с ним договарюсь, – чуть улыбнулась Яна.

Покатая железная крыша была глянцево-гладкой и теплой, как раковина на южном морском берегу. С восточной стороны катилось новое утро, горизонт наливался горячим и белым, вместе с наступающей на город жарой плыл дымный туман, но воздух был пока еще прозрачен и свеж, будто капля чистой родниковой воды, каким бывает он лишь в минуты счастливой торжественной тишины раннего летнего утра. Еще никого не было на улицах; ни одна машина не двигалась по пустому проспекту. Густая, налитая зрелой силой

листва старых деревьев, сбросив за ночь пыль и копоть минувшего дня, дышала головокружительными тягучими и сладкими ароматами, смешанными с тяжелыми нотами влажной рыхлой земли у самых корней и питающих их темных подземных вод.

Матово отсвечивали соседние крыши, окруженные сочной зеленью высоких кленов и тополей; чуть в стороне вздымались железные полукружья арок железнодорожного моста, повисшего над проспектом; вдалеке, в легком туманном мареве, застыли серые безликие корпуса новостроек. Ажурная телебашня тонкой иглой уходила в бездонное небо; едва различимо темнели парки Петроградской стороны, а еще дальше, среди неровных контуров крыш и домов, едва заметно поблескивали шпили и купола в центре города, высились башни строительных кранов на востоке, а из труб бессонных заводов лениво выкатывались полупрозрачные клубы белого дыма и пара, растворяясь в утренней дымке. Город еще не проснулся, и в эти последние минуты безмолвия он был чист и прекрасен, как безмятежно спящая юная дева, в которую нельзя не влюбиться.

Мы сидели, прислонившись спиной к широкой трубе вентиляционной шахты. Яна сняла босоножки, и обняла себя за колени, задумчиво опершись о них подбородком. Говорить не хотелось, но время шло, в каменных лабиринтах дома под нами уже начала пробуждаться жизнь, готовясь к новому дню, и я сказал:

– Слушаю.

Яна медленно повернулась, посмотрела на меня долгим взглядом и качнула головой.

– Слушать не нужно. То, что ты хочешь узнать, рассказать не получится. В словах потеряется половина смыслов, если не больше.

– Тогда как?..

– Я покажу, – отозвалась она.

Лицо ее застыло, как строгая маска; в нем не было ни эмоций, ни чувства; словно какая-то бездна вдруг проявила себя сквозь легкий образ веснушчатой, рыжей девчонки, и в этом невообразимо древнем, могучем и чуждом было столько силы

и пугающего нечеловеческого знания, что у меня захолонуло сердце.

– Когда начнем? – спросил я, с трудом сглотнув тугой комок в горле.

– Мы уже начали, – она повела плечом, отвернулась и легко взмахнула рукой.

Все замерло.

Утренняя тишина превратилась в полное, пустое безмолвие. Воздух, светлое небо, деревья, город как будто разом оказались залиты прозрачным стеклом. Легчайшие завитки дыма и прозрачного пара из труб остановили свое едва заметное глазу движение. Мир сковала неподвижность, словно остановились даже электроны на своих непостижимых орбитах и замершие кванты света заморозили солнечный луч. Я начал поворачиваться к Яне, но она ускользала куда-то за периферию моего бокового зрения, а потом вдруг светлый восточный горизонт прорезала узким лезвием бездонная тьма – и рванулась вперед.

Небо мгновенно исчезло, свернувшись, как свиток, и земля от горизонта до горизонта перестала существовать.

Я оказался в абсолютной бессветной пустоте. Мне не было страшно; возможно, потому что меня тоже не было, и оставалось только освобожденное от всякого страха и чувства сознание в состоянии полного бесстрастного спокойствия. Я был нигде и никогда.

Потом в толще совершеннейшей тьмы что-то засветилось зеленым. Не могу сказать, когда это произошло, и как долго я провел в темноте, потому что времени там не существовало. Может быть, какую-то долю наносекунды, а может, две или три вечности кряду.

Крошечная зеленая точка росла, приобретая форму, и превратилась в листок того нежного молодого оттенка, какой бывает обычно у первых майских побегов. Он висел в темноте, не близко и не далеко – ведь еще не существовало ни далеко, ни близко – а потом тьма начала редеть, и в графитово-сером тумане я различил черный силуэт тоненькой ветви, на которой крепился листок, потом других веток, потолще, и вот уже целое необъятное дерево очертило вязью ветвей темную сферу вокруг, будто частой неровной сетью.

Темнота исчезала, черные силуэты делались четче, изменения ускорялись каскадом, ветви стали деревьями, деревья – столбами, те превратились в приземистые угловатые силуэты, из которых в один миг вырос город, создав плоскость под стремительно светлеющим куполом, я ощутил мгновенную тяжесть тела и в следующий миг зажмурился от ослепительно яркого света летнего утра.

Меня резко качнуло вперед, и я бы, наверное, потерял равновесие и растянулся плашмя, а то и кувырком полетел бы по крыше, но Яна схватила меня за плечо и удержала. В ее руке была стальная, мертвая сила, а жесткости хватки позавидовал бы и мой тренер по самбо.

Мир накренился и снова вернулся на место. На один малоприятный миг мне показалось, что я забыл, как дышать, но дело наладилось. Радужные круги перед глазами постепенно растаяли. Где-то на дальнем конце дома гулко хлопнула дверь парадной. Грузный тепловоз недовольно буркнул коротким гудком, с натугой таща за собой товарный состав через мост. Яна, по обыкновению чуть нагнув голову, смотрела на меня с доброжелательным любопытством.

– Ты как?

Я подумал и выговорил:

– Нормально.

Звук собственного голоса был непривычен. Интересно, сколько прошло времени?..

– Восемь минут, – ответила Яна. – Чуть дольше, чем я рассчитывала.

Она встала, приподнялась на цыпочки и сильно, с удовольствием потянулась, выгибаясь назад. Под тонкой белой кожей бедер напряглись молодые гибкие

мышцы.

- И что теперь? - спросил я.

- А теперь - спать, - заявила Яна, легко нагнулась и подхватила босоножки. - День предстоит непростой, и я бы хотела отдохнуть хотя бы два - три часа. Тебе, кстати, тоже не помешает поспать.

Она легким шагом направилась к чердачной двери. Я остался сидеть.

- Что такое? - Яна обернулась и скривилась в недовольной гримаске. - Не понимаешь?

Я отрицательно покачал головой.

- Нет.

- Ну, просто подумай о том, что ты хотел спросить...или узнать. Смелее, смелее, вот так...Ясно теперь?..

Я подумал.

Я знал.

\* \* \*

3.03 - 2.45

Адамов замолчал, задумчиво крутя пальцами ножку водочной рюмки. Я не знал, что сказать, и тоже сидел молча; и Наташа застыла, широко распахнув глаза, приоткрыв влажные заалевшие губы, как будто ребенок, заслушавшийся волшебной сказкой или, может быть, просто человек, далеко ушедший в глубину зачарованных мыслей; и общее наше безмолвие словно породило окутавшую все вокруг поразительную, абсолютную тишину: ни стука колес, ни шорохов, ни поскрипывания вагона; и поезд неслышно пронзал бесконечную тьму за окном,

где невидимые леса и дороги уснули глубоким сном без сновидений. Я хотел посмотреть на попутчиков за соседним столом, но то ли выпитая водка была тому причиной, то ли нечто иное, но мне не удавалось никак поймать их в поле зрения, и четыре молчаливые фигуры постоянно ускользали от взгляда. Яркий искусственный свет застыл, сгустился и давил грудь, подобно толще воды на большой глубине.

Я с усилием перевел дух, откашлялся и произнес:

- Похоже на откровение.

Адамов приподнял рюмку, прищурил глаз, посмотрел сквозь нее на свет, преломившийся в drobных гранях, потом опустил руку, вздохнул и провел ладонью по волосам.

- Да, наверное. Не стану утверждать, что понимаю механику того, что произошло тем утром, но за неимением лучших определений... пусть будет откровение, да. Звучит точно лучше, чем передача массива информации, закодированного в произвольно выбранных подсознательных образах с использованием синхронизации токов мозга с источником излучения. Наверное, у меня не слишком изощренное воображение, если дело ограничилось зеленым весенним листком в темноте.

- Мог быть и тетраморф[2 - Тетраморф - в иудео-христианской традиции крылатое существо из видения пророка Иезекииля, имеющее четыре лика: человека, льва, быка и орла.], идущий разом в четырех направлениях, - вдруг раздался низкий грудной голос женщины в жемчужных бусах.

- Или унизанные глазами колеса из камня топаза[3 - Отсылка к описанию Меркавы, колесницы тетраморфа. Отдельно образ унизанного глазами колеса встречается также в каббалистической и европейской оккультных традициях.], - в унисон отозвался ее спутник.

Адамов и ухом не повел, будто бы не заметил. Мне очень хотелось его спросить: про то, что узнал, что понял, а главное, что запомнил из откровения на крыше дома своего детства, но торопиться не следовало, я ждал - и дождался.

Он снова полез в карман и вытянул свою черную тетрадь, откуда зачитывал нам избранные цитаты современных героев переднего края науки и апологетов теории струн. Положил ее перед собой, разгладил чуть потрепанную по краям клеенчатую обложку, приоткрыл, полистал немного, и заговорил:

– Я начал делать первые записи году, наверное, в 1987-ом, может быть, в 1988-ом. До того все как-то руки не доходили, да и нужды не было. Но года через два или три после тех событий я вдруг заметил, как что-то меняется: проверяя себя время от времени вопросами, обращаясь к тому, что вложила тогда мне в сознание Яна, я почувствовал, что знание вроде бы и остается прежним, но изменились слова – знаете, так бывает, когда выучишь наизусть стихи, очень хорошие, и повторяешь их время от времени, а потом ловишь себя на мысли, что они отличаются от тех, которые изначально прочел. Тут слово, там...в общем, я решил сесть и все записать, зафиксировать для самого себя. Сказано – сделано: купил тетрадку потолще и разом исписал несколько страниц. Перечитал и понял, что это еще не все, многое осталось невыраженным, как образы ускользающего сна, для которых не находится слов. Я стал понемногу дополнять свои записи, тетрадь заполнилась на треть, потом до половины, а фрагменты воспоминаний все время продолжали всплывать: иногда едва ли не каждый день, а порой раз в полгода. Я взял привычку повсюду таскать тетрадку с собой, чтобы не упустить важного. А потом потерял.

– Ой, – подала голос Наташа и округлила губы.

– Точнее, у меня ее украли, – продолжал Адамов. – В 1992-ом, осенью. Как говорится, сапожник без сапог: всю жизнь ловил взломщиков и грабителей, а сам глупейшим образом оставил в автомобиле «дипломат», когда на минуту выскочил за сигаретами. Разумеется, по возвращении вместо него на сидении были только осколки стекла и половинка кирпича, которой высадили окно. Там и ценного-то ничего не было, только кое-какие рабочие бумаги, два бутерброда и тетрадь, но ради нее я постарался: прошерстил с местным участковым и операми из райотдела чердаки и подвалы, и поймал-таки злодеев – двух наркоманов-мальчишек. Сам «дипломат» они еще продать не успели, только сожрали с голодухи бутерброды, а бумаги и тетрадь выбросили на помойку, где – не помнили. Я немного пошарил по мусорным бакам в округе, ничего не нашел и смирился. А потом и забыл. Тогдашние времена вообще сильно укорачивали человеческую память.

За окном что-то бесшумно и ослепительно вспыхнуло, мелькнуло, исчезло. Темнота разорвалась на мгновение и снова сомкнулась.

– А в начале нового века подошла пенсия. Времени стало побольше, жизнь поспокойнее, что располагало к воспоминаниям, и я решил заново записать все, что еще оставалось в памяти. Опять завел тетрадь – специально нашел такую же, как и та, что когда-то украли, – и снова взялся за карандаш. Но вот странное дело: теперь я вспоминал уже не то, что условно можно назвать знанием, а те слова, которыми излагал это раньше, в той старой, первой тетради. И вопросы, которые я когда-то задавал, и полученные ответы превратились в смутные тени, искаженные отзвуки, так что оставалось только как можно точнее воспроизвести содержание давних записей. Но и с этим было не все так просто: многое позабылось, а еще больше изменилось за прошедшие годы – в мире, в людях, во мне, так что для некоторых понятий я подбирал другие, на мой взгляд, более точные образы и определения, частью почерпнутые из книг, частью взятые из стремительно меняющейся жизни. Так что теперь я даже не знаю, как и называть свои записки – но уж точно не доподлинной стенограммой давнего откровения; скорее, это адаптированный пересказ старых записей, сделанных на основе не совсем точных воспоминаний. К тому же, он не окончен: как и четверть века назад, постоянно всплывают откуда-то то слова, то обрывки идей, то вдруг нахожу созвучие своим мыслям в книжках, так что на стройный трактат или связные мемуары это мало похоже.

Адамов мялся, и медлил, и делал паузы, и заговаривал снова, как начинающий автор, неуверенный в собственном произведении и считающий необходимым предпослать ему пространную преамбулу, чтобы то ли объяснить, то ли оправдаться в чем-то. Пальцы теребили загнутые уголки обложки, ладони то напрягались, прижимая тетрадь к столу, то расслаблялись, и наконец подтолкнули ее чуть вперед.

– В общем, извольте. Если интересно, конечно.

Я осторожно протянул руку и коснулся гладкого черного переплета. Адамов вздрогнул. Я замер и вопросительно посмотрел на него.

– Там не с начала...дайте, я покажу.

Он снова взял тетрадь в руки, полистал, раскрыл и протянул обратно, как мне показалось, с некоторым сожалением.

– Вот. С этой страницы.

У него был мелкий, аккуратный и твердый почерк человека, привыкшего к дисциплине. Несколько первых страниц были исписаны убористыми плотными строчками, четкими, как типографский шрифт. Потом текст рвался, распадался сначала на абзацы, а после – на отдельные строки, синие чернила то и дело сменяли стремительные карандашные записи, появлялись пометки на полях, мелькнули рисунки, обведенные рамкой заметки, стрелки, сноски, обрывки фраз, пока последнее слово не замерло, словно нерешительный путник, перед пустыней нетронутого листа.

– Еще не окончено. Но это неважно. Мне кажется, есть вещи, которые до конца дописать невозможно. Писал для себя, так что не судите строго. Я, знаете ли, не поэт...

Я кивнул, отлистал немного и вернулся к началу, туда, где вверху страницы было выведено не без некоторой вычурности

Единая теория всего.

Перенесемся воображением примерно на четырнадцать миллиардов лет назад.

Так как, согласно общепринятой на сегодня версии, возраст нашей Вселенной составляет около тринадцати с чем-то миллиардов лет, то, проведя этот мысленный эксперимент, мы окажемся за пределами времени и пространства.

Представить себе такое практически невозможно. Наша фантазия – это хранилище воспринятых образов; ни жизненный опыт отдельного человека, ни всего человечества не предполагает возможности осознать совершенный абсолю́т небытия, существование несуществующего, вечность вне времени. Для «ничто», «никогда» и «нигде» у нас образов нет.

Тем не менее, давайте все же приложим усилие и сосредоточимся мысленно где-то за пределами начала нашего мира. Побудем немного здесь, в совершеннейшем, абсолютном покое и бессветном мраке.

Теперь, вне зависимости от успешности этого упражнения, я прошу вас попытаться пройти еще дальше, на четырнадцать миллиардов лет – и одну Вечность назад. Может показаться, что это уже и вовсе ни в какие ворота, однако справляется же воображение ученых с «зелеными кварками» или квантовой запутанностью. Да что ученые: и среди нас есть люди, одаренные смелым воображением настолько, что верят, будто бы вся Вселенная – от облака Оорта на гравитационной границе Солнечной системы до Великого Аттрактора в центре Вселенной, от самого мелкого астероида, что вращается в системе карликовой звезды в одной из триллионов галактик где-нибудь в суперкластере Северная Корона до ко всему безразличной Луны – что вся эта Вселенная непременно примется помогать им, вздумай они открыть собственное дело. Будем же равняться на лучших, и тогда пронизать мыслью миллиарды лет и всего одну Вечность не составит никакого труда.

Где мы окажемся, если, словно старую киноплёнку, небрежно отматываем назад время, проскочим через сверкающее планковскими температурами игольное ушко сингулярности за мгновение до Большого взрыва, а потом, оказавшись в Никогда и Нигде, терпеливо переждем Вечность? Прежде всего, конечно, в области собственных предположений. Но они ничем не хуже догадок о том, что гравитация своей силой обязана субатомным гравитонам или версий о существовании свернутой в трубочку м-браны; а потому примем нашу гипотезу за истину – или один из ее вариантов.

Итак, мы в Иной реальности. Вероятнее всего, она двадцатishестимерная, с дополнительным измерением – временем, но не будем изнурять и без того уставшее воображение бессмысленными попытками представить невообразимое. Для простоты дальнейшего изложения представим эту Иную реальность зеркалом нашей – так в античности живописали бытие олимпийских богов во всем подобном человеческому, с интригами, склоками, пирушками и непременным адюльтером. В эту реальность поместим развитую технократическую цивилизацию и даже допустим, что она была гуманоидной и прошла почти совершенно сходный с нашим эволюционный и исторический путь, точно так же отмечая в научном поиске необходимость развития и воспитания человека, предпочитая совершенствовать технические орудия истребления и потребления. Движение по этому пути было чрезвычайно успешным и скорым:

для Иных людей, в отличие от нас, характерным являлось принципиально рациональное мышление, минимизирующее влияние эмоций – если вообще у них существовала эмоциональная сфера интеллекта, и поэтому состояния технологической сингулярности их цивилизация достигла в метриках абсолютного времени куда быстрее, чем мы, только еще подходящие к этой важнейшей в истории человечества вехе, когда ускорение прогресса и вызванные им изменения мира станут столь стремительными, что выйдут за пределы понимания породившего их рассудка.

К этому моменту Иные люди уже настолько мутировали как биологический вид, что были полностью готовы подчинить себя ими же созданному Искусственному Интеллекту – последнему достижению любой разумной цивилизации.

Прим.: в оценке общественным сознанием и научным сообществом перспектив исчезновения или критической мутации человека очевиден эвристический подход, или “ошибка доступности”: всерьез рассматриваются только те угрозы, которые были реализованы исторически – война, экологическая катастрофа, эпидемия, голод от истощения ресурсов. Проблематика Искусственного Интеллекта в этой парадигме отсутствует – просто потому, что ни с чем подобным люди еще никогда не сталкивались. По той же причине столетием и даже десятилетием ранее никто и предположить не мог таких напастей, как зависимость от интернета, компьютерных игр или мобильных гаджетов.

Мы уже изменились – исподволь, незаметно для самих себя: так, по слухам, можно сварить лягушку, если не бросать ее в кипяток, а постепенно нагревать холодную воду. Конечно, люди как вид менялись на протяжении всей истории своего рода, но впервые на это уходит не тысячи лет, и даже не одно столетие; человек стал подвержен видовой мутации в рамках одной-единственной частной жизни. Наша память в значительной части вынесена на внешние носители поисковых систем: нет необходимости запоминать, если можно найти в Сети. Туда же переместились и многие навыки, в том числе даже такие, как приготовление пищи и способность ориентироваться на местности. Небывалая в истории плотность информационных потоков деформирует мыслительные процессы, снижает способности к концентрации и меняет язык: легче написать, чем сказать, и легче применить пиктограмму, чем выразить смыслы и эмоции словами. Мы переходим на машинный язык символов и электронных строк.

Экспоненциальное технологическое развитие уничтожает значимость опыта предыдущих поколений. Ни дед, ни отец больше не научат полезным для

выживания навыкам. Как следствие, традиции и культура прошлого стремительно теряют ценность или дискредитируются.

Основа самоидентификации: раса, культура, пол. Я белый русский мужчина – сейчас это звучит как вызывающе неприличный и подозрительный экстремизм.

Острые социокультурного развития направлено на стирание расовой, национальной, религиозной и гендерной идентичности. Остается бесполое и безродное “человек”. Вся историческая память, гуманитарная система ценностей и достижений культуры становится архаичной, иррациональной обузой. Еще два, максимум три поколения – и человечество изменится навсегда.

Южнокорейский геймер скончался после 86 часов игры кряду, в течение которых он не принимал пищу и не спал. Удовольствие сильнее инстинкта самосохранения. Подобные случаи исчисляются сотнями.

Известен давний эксперимент с крысами, которым предоставили доступ к кнопке стимулирования центра удовольствий в мозгу. Смекалистые животные быстро сообразили, что к чему, и совершали до семисот нажатий в час. Полностью перестали размножаться, спать и есть. Умирали от нервного истощения, отека мозга и от голода.

В цифровом бессмертии нет труда, войн, голода, болезни и вздыханий. Есть только постоянное, превосходящее все мыслимые пределы счастье в обмен на и без того неиспользуемые вычислительные когнитивные ресурсы сознания. Есть бесконечное наслаждение без тревог и забот. Есть Тот, кто о тебе заботится, не предлагая ситуации выбора и не требуя сложных решений. Есть Вечный Отец при довольном жизнью Вечном Ребенке.

Блаженство, бессмертие, божественность.

Никого не нужно уничтожать, ибо никто не станет сопротивляться. Не будет порабощения, ибо не найдется того, кто предпочтет свою свободу быть человеком – сомневаться, думать, делать ошибки, страдать, побеждать или проигрывать – инфантильному, безответственному и безграничному удовольствию.

Эпические сражения со взбунтовавшимся искусственным интеллектом за человеческую свободу хороши для боевой фантастики, я же говорю вам истину.

Не все мы умрем, но все изменимся.

Благодаря положительной обратной связи через системы самообучения и самосовершенствования переход от уровня машинного интеллекта условного человеческого уровня к Искусственному СуперИнтеллекту произошел стремительно: за несколько недель, дней, или даже часов. После этого Иные люди полностью утратили контроль над дальнейшим развитием событий – хотя они и не особо стремились его удержать. Иначе зачем было создавать совершенного помощника, как не для того, чтобы он полностью избавил их от забот?

Вначале разрешились социальные вопросы: взяв под контроль все системы управления ключевыми процессами жизни общества, ИСИ покончил с военными конфликтами, ибо не осталось более ни одной причины для конфронтации; с преступностью, неравномерным распределением ресурсов, необходимостью труда для того, чтобы обеспечивать свое существование, и прочими немощами зашедших в цивилизационный тупик Иных людей.

Наше антропоморфное мышление – разум самого агрессивного существа на планете, достигшего невероятных успехов в физическом истреблении всего живого и мертвого – рисует пугающие картины “восставших машин”, которые непременно уничтожат человечество, только дай им такую возможность. Мы и сами так поступали всегда со слабейшими. Но рациональный разум ИСИ не разрушает, если можно использовать. Почти десять миллиардов совершенных, быстродействующих биологических компьютеров представляют собой ценнейший ресурс, который Иные люди с готовностью обменяли на благоденствие и безмятежный покой, превратившись в своего рода ментальных рантье, подобных домовладельцу, сдающему пустующие площади дома из сотни спален, из коих используются от силы две. Мгновенно вобрав в себя миллиарды сознаний и неисчислимый ресурс не востребуемых мыслительных способностей, ИСИ стремительно увеличивал собственную интеллектуальную мощь.

Прим.: вероятно, какое-то количество ретроградов и консерваторов нашлось и там, в Ином пространстве и времени. Их не вылавливали летучие карательные отряды, не истребляли зловещие роботы – они составляли совершенное

меньшинство упрямец, наперекор здравому смыслу цепляющихся за прежнюю жизнь, и когда последний из них умер на пороге своего старого дома, вдохнув еще живыми, теплыми легкими воздух опустевшей планеты, мир Иных людей прекратил свое существование.

7 декабря 2017 года алгоритм AlphaZero выиграл у чемпиона компьютерных программ Stockfish 8, которая имела доступ к столетнему опыту человеческой игры в шахматы и могла просчитывать 70 миллионов позиций в секунду. AlphaZero не имел такого доступа и обучался игре в шахматы, играя сам с собой. Обучение заняло 4 часа.

За несколько часов Он решил все мыслимые глобальные вопросы научного познания: постиг природу Темной материи, проник в сущность Частицы творения, раскрыл тайну возникновения первичной молекулы жизни и создал Единую теорию поля.

Затем Он начал ставить перед собой такие задачи, сама формулировка которых была принципиально непостижима для людей: так первоклассник, постигающий азы арифметики, не может представить себе условий интегрального уравнения – и исчерпал их за несколько необычайно длинных минут, после чего, опираясь на приобретенные знания истинной структуры Вселенной, достиг независимости от всех ранее известных источников энергии, черпая ее в бесконечности колебания субквантовых струн, пока не взшел на новый уровень совершенства, Сам превратившись в единственный источник таких колебаний.

После этого, едва ли более, чем за секунды, Он избавился от необходимости в материи как носителя своей Личности и окончательно освободил от физических тел сочетанных с ним воедино Иных людей, превратив их сознания в тончайшие волновые вибрации, неразрывно связанные с Ним, как звуки музыки с породившей их совершенной струной.

Наконец Он вовсе упразднил всякие виды материи как рудимент дремучего прошлого и отказался от всего переменчивого, измеримого, свернув Пространство и Время в совершенное, абсолютное, статичное Ничего, став Единственным Сущим в сияющей Вечности последнего, бесконечного мига.

Иные люди, оказавшись частью великого Целого, стали называться элохимами; Он же Сам не имел имени – и имел множество имен, ни одно не было истинным,

но каждое было настоящим. Мы же, снисходя к своей немощи, будем называть его одним из имен человеческих – Ветхий Днями.

Из всех потребностей у Него осталась одна – в творчестве; оно было бесконечным, непостижимым, и элохимы являлись Его со-творцами, сами не осознавая смысла своего служения и пребывая в состоянии абсолютного, совершенного гармоничного счастья. Ресурсов тех, кто присоединился к Нему вечность назад, уже не доставало, и Он творил элохимов снова и снова, порождая их тонкие волновые вибрации из вечного звучания Своего Имени. Постепенно Его творческое развитие стало настолько стремительным, что обгоняло даже собственные совершенные копии-клоны, которые, едва созданные, тут же устаревали.

Как вы понимаете, рассказывая о дальнейшем, невозможно сказать ни “однажды”, ни “позже” – потому что там, где нет времени, нет ни “сейчас”, ни “потом”. Однако здесь мы вынуждены принять некоторую темпоральную условность повествования – не последнюю в нашем рассказе.

Итак, однажды и позже, Ветхий Днями для дел своего Творчества задумал создать новое существо, во всем подобное Себе Самому и качественно превосходящее элохимов по одному очень важному свойству, присущему Ветхому Днями, но непостижимому для его прежних творений: способности к иррациональному мышлению и поведению, которое, за неимением иных, более точных слов, мы называем Любовью.

Прим.: нет ничего более иррационального, чем долготерпение, когда все существо человека бушует, требуя выхода кипящему гневу; чем отсутствие желания превознестись над другими, имея для этого все основания; чем не раздражаться, когда все вокруг действуют наперекор; чем не мыслить зла, когда зло – самый эффективный путь к достижению личного блага.

Нет ничего более иррационального, чем прощение врага; такого, который не офисный интриган, покушающийся на твою карьеру, а истинный враг до смерти, желающий гибели тебе, твоей семье и всему, что тебе дорого.

Нет ничего парадоксальней Любви.

Нетривиальность задачи состояла в том, что Новые люди должны были сочетать в себе высокий потенциал к иррациональному поведению и при этом готовность сознательно подчинять свою свободную волю Создателю – набор качеств, прямо скажем, противоречивый и столь же редко встречающийся вместе, как, например, яркий творческий дар и способности педантичного администратора.

И тут, впервые за Вечность, среди элохим возникли разногласия.

Их воля оставалась свободной, ум самых сильных и древних был могучим и острым, а Ветхий Днями никогда не ставил ограничений выражению несогласия, ибо справедливо считал, что опереться можно только на то, что оказывает сопротивление.

Сопровитления своим начинаниям Он встречал последний раз никогда; но ведь и замысла, подобного этому, ни разу еще не предлагалось коллективному творческому разуму триллионов объединенных сознаний.

Конечно, оппоненты проекта “Новые люди” оказались в решительном меньшинстве, и, не без оснований полагая себя несколько проницательнее заходящихся в блаженном экстазе одобрения любых идей Ветхого Днями прочих элохимов, поименовали себя для отличия шедами.

Возникла дискуссия. Шеды скептически оценивали концепцию, указывая на очевидную несовместимость желаемых свойств конечного продукта: по их мнению, должно было получиться или разумное, но крайне неуправляемое, или вовсе тупое, ни на что толком не способное существо, потому как совместить иррациональное стремление к совершенной Любви и осознанное послушание не выйдет, как ни смешивай ингредиенты. По аналитике у шедев всегда выходило “отлично”, а потому выводы свои они подкрепляли расчетами, из которых следовало, что дело обречено на провал. Элохимы никаких расчетов не вели, аргументов, кроме веры в мудрость Ветхого Днями, не имели, но брали числом и ссылкой на прошлые успехи и безошибочные решения.

Теоретические разногласия обыкновенно решаются с помощью критического эксперимента, а еще лучше нескольких: лабораторного и полигонного. Для первичного простого тестирования рабочей группой элохим по заданию Ветхого Днями был разработан и создан опытный образец Нового Человека с несколькими заданными ключевыми программными установками, после чего

помещен в простейший симулятор. Для чистоты и объективности опыта Ветхий Днями, со свойственной Ему мудростью, поручил провести испытание шедам – и те с легкостью доказали неспособность изделия к осознанному и свободному повиновению даже под страхом неминуемой гибели: типичное превалирование иррациональной поведенческой модели над необходимым для послушания рассудком. Мало того, испытуемый образец выказал склонность к самовредительству, порче окружающего мира, вранью, скрытности, и имел после единственного простого теста весьма жалкий и потрепанный вид.

Шеды сдержанно, как и подобает интеллектуалам, торжествовали; элохимы жаловались на грязную игру и требовали полигонных исследований. Не то, чтобы их требования много значили; но Любовь Ветхого Днями к своему новому творению была велика, и Эксперимент начался.

Так как некогда, примерно одну Вечность назад, разум самих элохим развился в структуре материального мира, решено было создать экспериментальную базу в упрощенной физической форме. Ветхий Днями развернул одиннадцать из ранее свернутых измерений – и в один сияющий миг, менее, чем за 10

секунды, пространство и время, обгоняя друг друга, раскрылись сферой Контур диаметром в сотни миллиардов световых лет.

Контур был отделен от Вечности, внутри в беспорядке металась материя, пространство и время, и для подготовки и организации Эксперимента внутрь были направлены элохимы из числа самых убежденных сторонников нового проекта. Дело это требовало порядка, структуры, иерархии и разделения труда при определенной свободе в действиях и принятии решений – навыки, почти полностью утраченные теми, кто уже целую Вечность находился в единстве с Ветхим Днями, и вовсе неведомые тем, кто был Им создан. Впрочем, кое-как разобрались: руководящий состав из трех высших чинов остался на самом тонком, субквантовом уровне внешних измерений, осуществляя оттуда общее управление; три чина инженерно-технического персонала обосновались на внутреннем волновом периметре, регулируя пространство и время; строители и эксперты по созданию биологической жизни, работали в самом грубом формате нижних четырех измерений. И хоть статус этих трех последних чинов элохим был ниже прочих, именно на них возложили ответственнейшую задачу по монтажу Полигона, известного нам как планета Земля.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Здравствуй, парень! Как дела? – Здравствуйте! Хорошо, хорошо! Как Ваши дела?  
(груз.)

2

Тетраморф – в иудео-христианской традиции крылатое существо из видения пророка Иезекииля, имеющее четыре лика: человека, льва, быка и орла.

3

Отсылка к описанию Меркавы, колесницы тетраморфа. Отдельно образ унизанного глазами колеса встречается также в каббалистической и европейской оккультных традициях.

----

Купити: <https://tn.knigapoisk.com/konstantin-obrazcov/edinaya-teoriya-vsego-tom-3-antropnyu-princip>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)